



выработать, отшлифовать свою точку зрения и оценить позицию другого. Это же захватывающе интересно. Это же вскрытие душевной глубины и познание иной личности. Общение!

Ах, это "общение" — кодовое слово. Как мало мы тогда придавали значения этому подарку судьбы. Мы были так богаты им, что почти не замечали. Никто ничего не записывал, да и не заминал толком. Удивительные рассказы Михаила Давыдовича! Они лились из него легко и непринужденно. К случаю, без случая. Передаю их так, как запомнились. За точность не отвечаю.

— У меня с твоим отцом, — говорил он, обращаясь ко мне, — было одно неприятное столкновение. Я пришел на вечеринку с девушкой. Она вроде ко мне очень благосклонно относилась. И тут появляется Володя Луговской, тогда уже известный поэт, как всегда красивый, как всегда обаятельный и победительный. Через короткое время я обнаружил, что моя девушка уже его девушка. Вся порозовела, разговаривает только с ним, неестественно смеется, а меня не замечает. С горя я напился. Сквозь туман заметил, что они исчезли. Я нагнал их на улице и полез на него с кулаками.

— Миша, — умолял он. — Не лезь. Я же боксер. Я же тебя с одного удара уложу.

И уложил, потому что не мог унять. А потом поднял, отряхнул, доставил на место и щедро возвратил мне мою девушку, несмотря на ее недовольство.

Но я все равно не мог простить ему мое унижение. Мы много лет не разговаривали и не здоровались. А потом однажды где-то подошел ко мне и сказал:

— У грузин есть такой обычай — под утро, когда все уже устало и израсходовались, женщины убирают все со стола, стелят чистую скатерть, расставляют но-

вые блюда, и все начинается сначала, заново, как впервые. С чистого листа.

Давай и мы начнем наши отношения с этого чистого, белого, нетронутого листа.

— Вот так, заключал Михаил Давыдович. — И помирились. Раз и навсегда.

Или вот еще один его рассказ:

— Когда арестовали Берия, один наш с Колечкой приятель, он теперь на пенсии, а когда-то служил в органах и сохранил там связи, уезжал из Ленинграда. Билет ему достали друзья оттуда и они же его провожали на вокзал, и шепнули ему насчет ареста, о котором пока еще нигде не объявляли. Ну, простились они, входит он к себе в купе (в СВ, конечно), а там важный генерал сидит, кагебешник. Хмурый, высокомерный, неприветливый. На приветствие не отозвался, молчит, только пиво беспрерывно пьет — денщик ему целый ящик притащил. Пьет и не угощает, как будто в купе больше никого нет. Приятель наш разозлился и давай ему правду-матку рубить. Мол, Берия ваш — подонок, изверг, руки по локоть в крови, и вы его приспешники не лучше, вам тоже потом отольется. Тот молчит, кровью наливаясь, пиво пьет. А в Бологом вышел. Долго отсутствовал, вернулся тихий, ласковый. — "Пива, — говорит, — хотите?"

И так до бесконечности. Особенно много историй было связано с арестом, тюрьмой и лагерем, куда они с вышеупомянутым "Колечкой" — Николаем Робертовичем Эрдманом, ближайшим другом, соответчиком, а потом и соавтором ухитрились попасть раньше многих, когда еще не было поголовного сажания.

— Мы долго не могли понять, за что нас арестовали. Наконец, следовательно сжалился над нашим недоумением и сказал: "Неужели вы не понимаете? Нам

нужно приструнить интеллигенцию. Горького мы посадить не можем, какого-нибудь Пупкина сажать бесполезно — кто его знает, никакого резонанса. Вы нам как раз подходите". И мы так обрадовались. Все стало понятно. Смысл появился.

Или еще:

— Когда меня первый раз освободили (а их арестовывали, насколько помнится, несколько раз), я вышел на волю, купил билет и поехал в Москву. А у меня были очень хорошие отношения с начальником лагеря, он помог мне достать место в литерном вагоне. Вхожу в купе, сидит какой-то человек, перед ним бутылка водки, он уже изрядно принял. Посмотрел на меня и сразу определил: зек? Я не отрицал, чего таяться. Налил он мне водки и давай советскую власть ругать, да так откровенно, зло. Я похолодел. Думаю — попал. Это же явно провокатор. Сейчас второй срок накрутят. Вышел покурить, стою в тамбуре, руки дрожат, спичку зажечь не могу. Вдруг смотрю — мой начальник идет. Он в соседнем вагоне ехал. Посмотрел на меня, спрашивает: "Что случилось?" — "Да какой-то странный сосед попался" — острожно говорю я. Он, недолго думая, приоткрывает дверь купе, посмотрел, усмехнулся, закрыл, вывел меня снова в тамбур. "Ничего не бойся — говорит. — Это знаешь кто? Это — палач. Исполнитель, так сказать. Ему все можно".

Или еще:

— В первые недели войны мы с Колей попали в армию. И нас послали в оставляемую деревню — агитировать население. Стоим мы, вокруг нас дети, старики и бабы. Смотрят с тоской. Что тут скажешь? Начали что-то невразумительное толковать. Тут вдруг какая-то баба вперед вышла, нас отодвинула и говорит скорбно и жестко: "Ну, что тут

толковать. Хоть и го...ая власть, а своя". Лучший агитатор.

И последнее:

— У нас были друзья-покровители в органах, там тоже люди были. С кем-то поговорили, кого-то попросили и определили нас в ансамбль НКВД, не петь, конечно. Тексты песен писать. Поставили на довольствие, форму выдали — все, как положено. Коля надел форму, подошел к зеркалу, сказал: "Кажется, за мной пришли".

Что самое поразительное — все его истории были, скорее, смешные. Никак не ужасные. Таково свойство памяти? Или свойство природы — никого собой не нагружать. Один рассказ помню очень грустный, но и очень светлый — о смерти Николая Робертовича. Это было в 1970 году. Я не смею передавать его в прямой речи. Помню только, что, когда Николай Робертович перестал дышать, все ушли, а Вольпин долго сидел возле него и не отрываясь, смотрел на его лицо, которое все молодело, успокаивалось, разглаживалось, становилось все более спокойным и радостным. А потом вдруг перестало изменяться, застыло. "Душа отлетела" — сказал неверующий Михаил Давыдович.

Эта смерть была для него большим горем. Он очень любил Эрдмана, относился к нему с нежностью, почти как к девушке или ребенку. Себя считал менее талантливым, менее ярким и, уж конечно, гораздо менее обаятельным. Не знаю, наверное, так и было. Для всех, но не для нас. Мы-то любили именно Михаила Давыдовича, такого, каким он был. А Николая Робертовича, который и вправду отличался редким даром сокрушительного обаяния, воспринимали только как друга нашего друга.

На жизнь каждого, а вернее сказать, каждой из нас, потому

что редакторы у нас были исключительно женщины, молодые и впечатлительные, особенно поначалу, он оказал огромное влияние.

Я ничего здесь не говорю о нем как о драматурге, а ведь за ним было около пятнадцати сценариев художественных фильмов (почти все в соавторстве с Эрдманом), множество мультфильмов. Тексты песен, цирковые репризы и номера. Но пусть об этом напишут другие. Он был по-настоящему талантливым и разносторонним человеком. Но для меня он был больше всего, что он создал, потому что он был неповторимой личностью, несказанной доброты, масштаба и обаяния. Из тех, встреча с которыми меняет и определяет всю дальнейшую жизнь. А она была щедрой к нам на людей и встречи, как я теперь понимаю.

И последнее воспоминание, к делу не относящееся.

Мы возвращались из Одессы, где проходил семинар по детскому кино. Поезд подходил к Москве. Уже замелькали платформы, а потом и окраины. Я выглянула из купе и увидела, что возле всех окон стоят мои соратники и вчерашние веселые товарищи по диспутам и застольям. Все уже в пиджаках, при галстуках, отчужденные, немного замкнутые и грустные.

— Михаил Давыдович! — окликнула я.

Он повернул ко мне голову и невесело сказал:

— Праздник кончился. Наступают будни.

● М. Вольпин. 1949 год
● Слева направо: Н.Гребнев, М.Вольпин, А.Галич, С.Липкин, Я.Козловский



Экран и сцена.